

Адамович Георгий



Безукоризнен, как его пробор

Георгий АДАМОВИЧ
1892, Москва – 1972, Ницца

Когда мы в Россию вернемся...
о, Гамлет восточный, когда? –
Пешком, по размытым дорогам,
в стоградусные холода,
Без всяких коней и триумфов,
без всяких там кликов, пешком,
Но только наверное знать бы,
что вовремя мы добредем...

Больница. Когда мы в Россию...
кольшется счастье в бреду,
Как будто «Коль славен» играют
в каком-то приморском саду,
Как будто сквозь белые стены,
в морозной предутренней мгле
Кольшутся тонкие свечи
в морозном и спящем Кремле.

Когда мы... довольно, довольно.
Он болен, измучен и наг.
Над нами трехцветным позором
полощется нищенский флаг,
И слишком здесь пахнет эфиром,
и душно, и слишком тепло.

Когда мы в Россию вернемся...
но снегом ее замело.

Пора собираться. Светает.
Пора бы и двигаться в путь.
Две медных монеты на веки.
Скрещенные руки на грудь.

<1936>



Зинаиде Гиппиус
Там, где-нибудь, когда-нибудь,
У склона гор, на берегу реки,
Или за дребезжащею телегой,
Бредя привычно под косым дождем,
Под низким, белым, бесконечным небом,
Иль много позже, много, много дальше,
Не знаю что, не понимаю как,
Но где-нибудь, когда-нибудь, наверно...

<1927>

Памяти М.Ц.
Поговорить бы хоть теперь, Марина!
При жизни не пришлось. Теперь вас нет.
Но слышится мне голос лебединый,
Как вестник торжества и вестник бед.

При жизни не пришлось. Не я виною.
Литература – приглашение в ад,
Куда я радостно входил, не скрою,
Откуда никому – путей назад.

Не я виною. Как много в мире боли.
Но ведь и вас я не виною ни в чем.
Всё – по случайности, всё – по неволе.
Как чудно жить. Как плохо мы живем.

1970

В 62-м году в парижском такси мы поссорились с моей тогдашней женой Галей. У нее был характерец весьма упрямый, как, впрочем, у всех моих последующих жен, и она ни за что не хотела уступать, вызывая упорству. В конце концов я не сдержался, и у меня, к сожалению, сорвались три слова, одним из которых было ни в чем не повинное слово «мать», что, поверьте, случается со мной крайне редко. Шофер такси, с благородной сединой, выбивавшейся из-под форменной фуражки, кашлянул и сдержанно, но твердо сказал: «Господа, я хочу вас предупредить, что я – русский. Извините меня, молодой человек, но если даже у вас были интимные отношения с матушкой этой очаровательной молодой женщиной, то, право, вас не украшает то, что вы ее об этом оповещаете, да еще в такой грубой форме...» Нечего и говорить, что я остолбенел. Это был один из первых уроков эти-

кета, преподнесенный мне человеком из «белых эмигрантов», как выяснилось впоследствии, участником Ледяного похода генерала Корнилова.

Тогда же я познакомился с Георгием Викторовичем Адамовичем. В кафе «Куполь» по одну сторону стола сидел, красиво держа кукольную головку, с прической, разделенной безукоризненным пробором, крошечный петербуржец, законодатель литературных мод русского Парижа, дегустатор слова, полиглот, кавалер ордена Почетного легиона, выступавший некогда вместе с Блоком и Ахматовой. А по другую сторону – не говорящий ни на одном иностранном языке, не знающий, как полагается есть устрицы, слыхом не слыхивавший о запрещенных в СССР Бердяеве, Розанове, Флоренском, пестро одетый, не совсем еще оперившийся поэт со станции Зима, который не так давно пел в детском саду: «С песнями, борясь и побеждая, Наш народ за Сталиным идет». Встреча двух совсем разных воспитаний, двух Россиян.

Могли ли мы понять друг друга?
... За пять лет до моего рождения на заседании общества «Зеленая лампа» в Париже – в тот раз на тему «Есть ли цель в поэзии?» – дискуссии открыл прозванный «златоустом эмиграции» поэт и эссеист Георгий Адамович: «Единственное, что может объяснить существование поэзии – это ощущение неполноты жизни, ощущение, что в жизни чего-то не хватает, что в ней какая-то трещина. И дело поэзии, ее единственное дело, – эту неполноту заполнить, утолить человеческую душу».

И хотя с ним спорили такие авторитеты, как Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, именно Адамовичу было суждено стать литературным арбитром русской эмиграции и даже прослыть вдохновителем так называемой «парижской ноты», от чего он полушуточно-полубрезгливо откешивался: «Был некий личный литературный аскетизм, а вокруг него или в ответ ему некоторое коллективное лирическое уныние, едва ли заслуживающее названия «школы».

Я думаю, что метафорическая формула «парижской ноты» прозвучала в стихах Адамовича: «Нет доли сладостней – всё потеться». Адамович намекал, что были три-четыре поэта «об одинаковом догадывавшиеся, одинаково улавливавшие, готовые нала-

дить переключку еще до стихов, еще до того, как влюбились они в Анненского и отвергли оболщание бальмонтотщины во всех ее видах». Думаю, первым в этом сообществе был Георгий Иванов, вторым – сам Георгий Адамович. Но, пардон, у второго из Георгиев стихов-то кот наплакал... Однако кот коту рознь. Взять хотя бы булгаковского... В тонусянской книге «Единство» (1967), чьи страницы состоят больше из белых пустынных полей, чем из слов, даже пустоты поют!

А спорничать с ними мог только Владислав Ходасевич. Он был антиподом и Адамовича, и Георгия Иванова в своей старательной сдержанности и, видимо, крупнее их, даже вместе взятых, но они оба были по-человечески теплее, чем он, и безбоязненно сентиментальны в противовес его внутреннему ограничителю, который он, правда, иногда срывал, да еще как: «Я, я, я. Что за дикое слово! Неужели вон тот – это я? Разве мама любила такого? Желто-серого, полуседого И всезнающего, как змея?» Вот кто был тайной третьей фигурой «парижской ноты», хотя всячески противопоставлял себя ей.

Но если Адамович-стихотворец проигрывал в поэзии Ходасевичу, то у Адамовича-эссеиста было преимущество свободного мышления над скрупулезным мемуаристом Ходасевичем. И стихов Адамович оставил так мало, наверно, потому, что его поэзия легко переливалась в более эмоциональную, пульсирующую размышляющую прозу.

Адамович, прописавшийся под сурдинку на своей медленно рассовечающейся родине, не навязывает нам громогласно своих мыслей, а тихим осенним шелестом попросту напоминает заветы русской классики, придавленной нынче суетой озверелого выживания: «Последнее прибежище негодяя – патриотизм» – сказано в «Круге чтения» Льва Толстого. Не всякий патриотизм, конечно, и сам Толстой основными чертами своего творчества, смыслом и сущностью явления «Толстой» опровергает этот старый английский афоризм. Дело в том, что приемлем патриотизм лишь тогда, когда он прошел через очистительный огонь отрицания. Патриотизм не дан человеку, а задан, он должен быть отмыт от всей эгоистической самоупоенной мерзости, которая к нему прилипает...»

Адамович писал это, обращаясь к будущей России, частью которой, как он надеялся, мо-

жет стать тот чудом пробившийся сквозь железный занавес полуоперившийся поэт со станции Зима, тогда еще, в отличие от Адамовича, не читавший рассказа Ивана Шмелева о кровавых убийствах на этой станции в гражданскую войну.

И мы, такие разные, все-таки поняли друг друга. Соединила нас общая духовная родина: русская поэзия. Адамович был поражен, что я раздобыл в Москве его первые книжки «Облака» и «Чистилище», и, затаив дыхание, слушал, как я читаю на память его великое стихотворение «Когда мы в Россию вернемся...». А я в свою очередь был поражен, что он прочел мне тоже на память мое стихотворение, но какое! Вот уж чего я не мог ожидать от такого рафинированного эстета! «Играла девка на гармошке. / Она была пьяна слегка, / и корка черная горбушки / лоснилась вся от чеснока». Этот тончайший наслаждатель поэзией даже глаза зажмурил от удовольствия и языком прищелкивал: «Играла девка на гармошке, / о жизни пела кочевой, / и топали ее галошки, / прихваченные бечевою». (На этом месте он, ритмически рубя воздух маленькой бледной ладонью, промахнулся, стукнул не по столу, а по металлическому блюду, и устрицы во льду шевельнулись, как живые.)

Главным в Адамовиче была его чуткая отзывчивость – и, хотя она могла быть очень строгой, она бывала и редкостью доброй. Так, когда меня сыпались нападки со всех сторон, он написал редактору журнала «Мосты»: «Был у меня Евтушенко. Он мил и в каждом слове талантлив. Я совершенно не верю в то, что о нем пишут... Я написал архиепископу Иоанну – его поклоннику – с предложением образовать «Общество защиты Евтушенко». Немедленно записываюсь в члены».

На него напрасно обижались. Разве можно обижаться на чувства вслух, когда критик искренне делится с читателями, включая самого писателя, своими опасениями и задает сам себе вопросы? По-человечески с теми, о ком он писал, Адамович был безупречен, более того – безукоризнен, как его пробор. Да, у него не сложились отношения с Цветаевой, и это огорчительно, но уж слишком велико было их расхождение во взглядах почти на всё. Я сначала, что помог Георгию Викторовичу одним нашим долгим разговором, когда заклинал его помириться с Мариной Ивановной хотя бы после ее смерти. Он это сделал в своем, кажется, самом последнем стихотворении. Была бы она жива – простила бы его.

И я благодарен ему за идею антологии «Строфы века», впервые объединившей под одной обложкой и «белых», и «красных» поэтов, – идею, которая родилась в первом нашем разговоре там, в «Куполе», под подпрыгнувшие от неожиданности «на блюде устрицы во льду».

Письмо в Париж

Нас не спасает крест одиночества.
Дух несвободы непобедим.
Георгий Викторович Адамович,
а вы свободны, когда один?
Мы, двое русских, о чем пошло,
болтали с вами в кафе «Куполь»,
но в петербуржце вдруг проступала
боль крепостная, такая боль.
Да, все мы русские – крепостные,
с цепями ржавыми на ногах,
своей помещицы – блаженной России
и подневольнее, когда в бегах.
Георгий Викторович Адамович,
мы уродились в такой стране,
где тягу к бегству не остановишь,
но приползаем – хотя б во сне.
И, может, в этом свобода наша,
что мы в неволе, как ни грусти,
и нас не минет любая чаша –
пусть чаша с ядом – в руке Руси.
С ней не расстаться, не развязаться.
Будь она проклята – по ней тоска
вечилась, будто ретей рязанский,
в сукно парижского пиджака.
Нас раскидало, как в море льдины,
расколошматило, но не развину.
Культура русская всегда едина,
но лишь истытывается на разрыв.
Хоть скройся в Мекку, хоть прыгни в Лету –
в кишках Россия. Не выдрать! Шиш!
Невозвращенства в Россию нету.
Из сердца собственного не сбегать.

Евгений ЕВТУШЕНКО

Первоначальный вариант 1966 года. Пробыть это стихотворение не удавалось до начала перестройки. Но даже и тогда, при первой публикации, пришлось править, смягчать, добавлять ради того, чтобы начать реабилитацию на родине и Адамовича, и многих других изгнанников-поэтов.